

НАРОД, ВЗЛОМАВШИЙ СИСТЕМУ

*Критик Андрей РУДАЛЁВ беседует с писателем Сергеем ШАРГУ-
НОВЫМ о событиях октября 1993 года и его новом романе*

Андрей РУДАЛЁВ: Прошло бурление разговоров, связанных с двадцатилетием событий октября 1993 года. Сказано было много, но в то же время — как будто и ничего. В сухом остатке — ощущение, что страсти до сих пор не улеглись или их так театрально преподносили. Противники тех, кто выступил на стороне Верховного Совета, и спустя годы не жалели желчи, не стеснялись в эпитетах и определениях, как будто основная их задача состояла в том, чтобы вновь закричать тему, назвать всех красно-коричневыми и мерзавцами. Часто эмоции били через край, как будто включили те достопамятные глушилки, которыми необходимо было пресечь поступления любой взвешенной информации, трезвого взгляда на события. Глушили, как будто понимая, что это всего на несколько дней, а дальше этот вопрос вновь уйдёт с актуальной повестки до следующего юбилея. Сергей, удовлетворён ли ты осмыслением тех событий спустя двадцать лет, по крайней мере, тем, как события октября 1993 года преподносили в СМИ?

Сергей ШАРГУНОВ: Во многом сознательно разговор о произошедшем тогда уводили в тупик. Федеральные каналы и официоз не могли проигнорировать эти события, но контролёры дискурса были обеспокоены тем, чтобы всё подать в нужном для себя ключе, вплоть до прокручивания бесконечных шаблонов о страшных погромщиках с арматурой.

А. Р.: Проблема в либеральном дискурсе, или всё-таки общество до сих пор не переварило те события, не осмыслило их?

С. Ш.: Общество в известной степени манипулируемо, и здесь важно, что до сих пор эта тема остаётся табуированной, запретной. Очень многие “прогрессивные” журналисты и иже с ними хотели бы как-то проскочить мимо этого события. Именно к этому сводится информационная и культурная политика последнего двадцатилетия. Так, многие преподаватели рассказывали мне, что на экзамене студенты не способны отличить 1993 год от 91-го, притом что способны рассказать о том, что было в XIX веке или веке XX. Надо понимать, что этот парадоксальный феномен есть результат сознательной информационно-культурной политики по замалчиванию произошедшего тогда.

А. Р.: На твой взгляд, в чём состоят основные причины этого табуирования?

С. Ш.: Люди, декларировавшие свою верность идеям демократии, конституционности, правам человека и плюрализму, на деле изменили им. Они

даже не считают нужным соблюдать принцип толерантности, который сами объявили базовым. Своих оппонентов они за людей и вовсе не считают!

Конечно же, мы все живем в условиях этого затянувшегося двадцатилетия. И политические, и экономические обстоятельства наших реалий — это прямое следствие событий 4 октября 1993 года. Кому-то это сложно признать, а кто-то просто не хочет этого делать. Показательно то, как эти события осмысливались в информационном поле. На Первом канале был показан фильм, снятый кремлёвским журналистом, о том, что во всём виноваты “красно-коричневые гады”. На канале “Россия” была программа, где собрались невнятные и непонятные отставники, которые готовы до сих пор вцепиться друг другу в горло, и в чём суть конфликта — так и не объяснили... И, наконец, была некоторая периферийная попытка сделать объективное расследование на канале НТВ со стороны журналиста Чернышёва, который впервые для российского телевидения показал тех баррикадников людьми. За это его мгновенно подвергли мощнейшей обструкции на интернет-партсобрании. Все акулы и перья накинудись на него и стали орать, что он мерзавец, конъюнктурщик. Хотя в чью пользу могла быть эта конъюнктура? Был ещё фильм молодых ребят на телеканале “Дождь”, где по-человечески говорили о защитниках Дома Советов. Этот взгляд нынешних двадцатилетних обнадёживает, потому что они понимают главное: нарушать Конституцию, расстреливать людей — нехорошо. Это заставляет нас вспомнить о том, что Борис Ельцину противостояли не только и не столько “суровые мракобесы”, как их именовали СМИ, но депутаты Моссовета, демократы первой волны, такие же ребята, как и эти журналисты.

А. Р.: Сергей, девяностые вообще многими драматическими событиями памятны для нашей страны. Был Беловежский сговор, была кровь в Чечне, людей обирали ваучерами, унижали их человеческое достоинство, а под шумок мародёры делили собственность преданной ими страны. На твой взгляд, чем все-таки принципиально выделяется из цепи всех этих событий именно октябрь 1993 года?

С. Ш.: Беспредельным беззаконием. Беловежский сговор — это, конечно, сговор. Верховный Совет хоть и ратифицировал эти соглашения, но не Съезд, и это одно из действий, которые не могли простить Съезду и его председателю. Попытка роспуска Государственной Думы в 1996 году была связана именно с денонсацией беловежских соглашений. Это была болезненная тема для новой власти. Собственно говоря, события 93-го года — это ещё и попытка дать бой, постоять за единую страну. Степень этого разрыва тогда была ещё не очевидна. Огромное количество людей, в том числе разумная часть общества, не восприняли сразу Беловежье как окончательный приговор Советскому Союзу, они предполагали, что это новая форма союзного договора.

Да и ваучерная приватизация в стране, и шоковая терапия находились под контролем Парламента. Он не был противником рыночных реформ, но предлагал делать это медленнее. Будем объективными: тогда у демократов был кредит доверия в стране, поэтому они имели право на проведение таких реформ. Но демократы, в том числе и Съезд, столкнулись с тем, что есть один узурпатор, который слепо выполняет то, чего от него требуют “друзья Билл и Коль”, тогда и возник этот конфликт.

В России всё-таки было разделение властей. Был Парламент, Конституционный суд, Президент, а тогда всё это было переломлено через колено, и возник абсолютизм олигархического толка. Это как раз произошло в 93-м году.

А. Р.: Был допущен произвол, после которого “всё позволено”?

С. Ш.: Да, дальше можно было делать всё, что угодно, потому что кто сильнее, тот и победил. Это было всем продемонстрировано. Несогласные? Вот вам ОМОН! Ещё больше не согласны? Вот вам танки! И кончен разговор! Таким образом, была задана повестка на все последующие двадцать лет, и в России всем было продемонстрировано, что власть готова не считаться с законом.

А. Р.: Ты говоришь о кредите доверия, который в те годы был у демократов. Но ведь большим упрощением и неправдой будет сказать, что в октябре противостояли друг другу “красно-коричневые” и демократы. Это ложная установка, которую нам навязывают двадцать лет. В 93-м году произошёл “момент истины” для демократического лагеря, и острота накала борьбы тогда — следствие водораздела внутри этого лагеря.

С. Ш.: Так получилось, что среди них выделились и начали стремительно набирать вес те, кому была дорога Россия и её судьба. Они не очень любили советскую систему, хотели обновления, но при этом думали о благе страны и понимали, что она должна быть самостоятельной силой в мире. Они думали и об обычном человеке. Я не боюсь идеализировать. Считаю, что такие люди, как Михаил Астафьев, Илья Константинов, Виктор Аксюциц, Михаил Челноков, Сергей Бабурин и многие другие, которые были избраны на волне демократического движения, не порывали с основой русской жизни, они не были компрадорами. Была и другая часть демократов, которые сразу сказали, что для нас существует только Запад и интересы крупного бизнеса, а народ пускай вымрет, и Россия уйдёт с мировой арены. Будем сдавать территории, будем сдавать позиции. Это разделение внутри демократического лагеря оформилось в течение года – полутора лет. . .

Если сейчас будут честные выборы, то подобное разделение тоже возникнет. Условные Навальный с Удальцовым могут оказаться в расстрельном Парламенте. “Сколько нам открытий чудных” может предоставить путь свободных выборов, потому что многие люди эволюционировали на глазах. Они приходили, разрывая красные флаги, и первыми воздевали триколоры, а потом сталкивались с практикой так называемых реформ и начинали задумываться о своих избирателях в глубинке. Стали они размышлять о том, что происходит, почему такая политика, почему мы сдали наших соотечественников в республиках, почему рижские омоновцы посажены в тюрьмы с согласия Кремля? . . . Таким образом, Иона Андронов, который был доверенным лицом Бориса Ельцина, вдруг становится настоящим державником и освобождает рижских омоновцев и встречает на границе Сергея Парфёнова. Вот он, конфликт! По линии Кремль – Белый дом, патриотизм или компрадорство. Сейчас эту тему пытаются всячески замазать. Как будто нет очевидности, как будто не было этого противостояния, как будто не было понятного разделения по всем вопросам. А это разделение было.

А. Р.: Однако оппоненты не хотят этого признавать, для них всё, что связано с Верховным Советом 93-го, – зло. Этакая тёмная погромная стихия, страшное наследие тоталитаризма.

С. Ш.: Надо понимать, что большинство парламентариев – это своего рода обыватели. Они сначала повторяли лозунги либералов, потом увидели плоды происходящего и, конечно же, у них начало поворачиваться сознание. Не нужно забывать, что это был тот самый Парламент, который сделал Ельцина Ельциным, наделил его огромными полномочиями. А что касается либеральной интеллигенции, то они ни слышать, ни знать ничего не хотят. Чистая агрессия. Вот уж погромщики с арматурой, в самом деле! Любые аргументы отменяются: расстреливать–убивать, мрази-животные. Больше всего их бесит интеллектуальное оппонирование и попытка говорить на уровне фактов. Они хотят рассуждать на уровне эмоций, при этом сея мифы. “Они убивали милиционеров!” – например, орут они. “Я видел из окна, как там 2 октября. . . – заливается соловьём один из либеральных журналистов. – Мой сын кричал: “Папа-папа, они убьют его. . .” На самом деле, 2 октября на Смоленской площади не был убит ни один милиционер. Это есть в протоколах. Там действительно было зверское избиение мирных граждан свердловским омоном, но это не имеет значения для квазиинтеллектуала. Если выгодно, значит ОМОН уже становится братом, а старушки и ветераны, которых бьют, – это страшные погромщики с кольями и заточками. Все определяется с точки зрения выгоды.

Не хотел бы разговор направлять исключительно на политическую стезю, хотя в этом вопросе принципиально, думаю, что наш Верховный Совет – это люди, избранные на самых ярких, самых честных выборах в 90-м году. И к ним рано или поздно придут, обратятся, и тогда эти сядовласые старики, быть может, окажутся единственной легитимной силой в нашем обществе.

А. Р.: Сергей, для меня начало 90-х – время действия твоего романа “1993” – время многоголосое, пустоголосое. . . с какофонией и мешаниной в головах. . . Быстротекущее, как песочные часы: тогда резво скакали “600 секунд”, умные головы до всеобщего счастья отмеряли 500 дней. В мешанине тех лет было всё: от ваучеров, баррикад и танков до Конституции, инвестиционных фондов и легендарного трехбуквенного МММ. Хаос, который искал хоть какого-то подобия порядка. Казалось, что всё само собой куда-нибудь

да выведет, и обязательно к лучшему, тем более, что каждому дали лотерейную путёвку в жизнь – ваучер.

В те годы я заканчивал школу, поступал в университет. На всё происходящее смотрел со стороны своего Северодвинска. Но уже тогда мне показалось, что символом тех лет стала “Будка гласности”. Она появилась на Красной площади за два года до знаковых октябрьских событий 1993 года. В неё по очереди заходили люди и в объектив камеры выкладывали всё, что у них на душе. “Будка” слала обращения к власти, стране и всему человечеству, транслировала размышления о судьбах, речи о настоящем и будущем, вплоть до призывов, которые сейчас можно охарактеризовать как экстремистские. “Будка” давала полуминутное ощущение сопричастности простого человека всему тому, что происходит в стране. Эту сопричастность многие люди по-настоящему чувствовали и верили, что держат руку на пульсе. Было ощущение, что всё в твоих руках и всё можно изменить, а для этого достаточно открыть людям глаза. Твои-то уже открыты!

Голоса были музыкой того времени, иногда они перебивались лязганьем гусениц и танковыми выстрелами, как в 91-м и 93-м. Голос воспринимался тем самым архимедовым рычагом, с помощью которого, как наивно полагали, многое можно изменить, достаточно только проявить волю и заявить об этом. Что-то подобное ловил в своё время Александр Блок в поэме “Двенадцать”.

Многоголосие, шум времени есть и в твоём романе “1993”.

С. Ш.: Моя книга – не сборник листовок, я не делаю никаких политических выводов, пытаюсь показать людей, в том числе разных взглядов. И эти люди, которые думали, что на что-то могут повлиять, они шли, с одной стороны, на Останкино, чтобы донести свою правду до страны, с другой стороны, они, поверив тогдашнему Останкино, пошли на защиту Моссовета с портретами Ельцина. И те, и другие были идеалистичны. Что бы ни говорили о девяностых, да, это, конечно, время больших потрясений, но это и время больших надежд и больших идеалов. Именно поэтому моя задача состояла именно в художественном изображении того времени, я старался избегать однозначных оценок. Это заметили все, включая самых ангажированных махровых критиков. Роман – всё-таки рассказ о людях. В центре книги – история обычной семьи, простых людей, их отношений. Одновременно это история социального краха: человек занимался ракетами, был электронщиком, а превратился в простого электрика. Важно было показать, что люди естественным образом могли быть закручены в водоворот событий. Им тогда казалось, что история рукотворна, что нет этого отчуждения государства от обычного человека.

Во многом это было наследием советского проекта, он был пропитан идеей народовластия. На самом деле это не было фикцией, не надо говорить, что всё это бред. Можно было пожаловаться на любую ситуацию, и была обратная связь. После письма в газету многое менялось. Я знаю десятки примеров, когда приезжал журналист в ту или иную местность, и всё: убирали плохого начальника. Можно было пойти в райком, обком – была абсолютная обратная связь. И в этом смысле система Советов была важна тем, что создавала огромное количество органов самоуправления на местах.

Люди воспринимали Перестройку как обновление социалистического проекта, и главный лозунг, с которым выходили в конце 80-х – начале 90-х годов: “Вся власть Советам!” То есть у людей было желание сделать народовластие реально действующим механизмом. На этом в своё время возвысился академик Сахаров. С этим шёл Ельцин, который говорил: да мы за социализм, но без привилегий, чистый, свободный от всего ложного и наносного. Он рассуждал так: я езжу на трамвае; меня тошнит, когда я беру бутерброд с осетриной...

Про многое из этого мы забыли, как забыли и о том, что надо жить одной жизнью со страной.

А. Р.: Твоего героя Виктора Брянцева зовут “ватный богатырь”. Ему и людям, подобным ему, подрубili крылья, или он был изначально не способен как-то себя проявить, реализовать – этаким созерцателем обломовского типа?

С. Ш.: Сложно сказать так об этом герое, ведь “ватным богатырём” его называет соседка. Это такой злобный женский взгляд на героя. Потом за ней подхватила и его супруга. В этом есть что-то от вайны полов и женского кинжального огня. На самом деле, он трудяга. Он тянет семью, он умница, он мастер. Человек, сделавший себя сам: был моряком, стал учёным, потом смог спокойно работать с трубами в подземелье. В нём есть лёгкая обломов-

щина, которая может сочетаться с подвижничеством. Это такой Илья, которые не всё время лежит на печи, он трудится, а потом приходит домой, раздевается до семейных трусов и заваливается на печь. Это нормально. И тут, когда он заваливается на эту печь с газеткой, чтобы решать кроссворды, заглядывает соседка и начинает рассуждать о том, что он “ватный богатырь”...

Конечно, в Викторе есть все нормальные мужские качества, но он сломлен личностной ситуацией. Оглушён. И в конечном итоге, он оглушён временем, социальным сломом внутри семьи, внутри общества. Под конец он оказывается фатально оглушён и выстрелами, и тем, что на его глазах убивают людей. Люди того времени на самом-то деле были советскими непугаными идиотами. Наша Россия на самом деле была более европейской страной к началу Перестройки, чем сейчас. Отсюда, кстати говоря, пресловутые столкновения с милицией, с ОМОНОм. Люди не думали, что их за это потянут в тюрьму. Было нормально выражать свой протест. Было ощущение внутренней свободы. И пойти к телецентру, потребовать выхода в эфир, чувствуя на это право, было тоже нормой. Бандитский расстрел собравшихся – вот начало наших нынешних несчастий.

А. Р.: Важный момент в твоём романе, что Виктор идёт по жизни в постоянном ожидании чуда, ещё с детства...

С. Ш.: Это не только советская история. Это русская история. Ожидание чуда – это русское. Оно отразилось в его странной любви к жене. И в том, как он оказывается вдруг увлечён происходящим в стране и тем, что он, сорвавшись из дома, угодил в эпицентр конфликта. В нём есть адекватность, нормальность. Если бы обстоятельства сложились иначе, жена бы по-другому вела себя, наверняка бы он остался дома, как и огромное количество русских людей, которые всегда были на грани. Кто-то перешёл эту грань, и их много среди погибших. Я видел их лица, биографии читал. Обычные люди, которые вдруг срывались и попадали под пули снайперов. А большинство-то осталось дома! Собачились с женой или решили выпить лишний стакан, посидеть у телевизора, сжав кулаки. Он мог бы быть в этом большинстве, но всё же примкнул к меньшинству тех, кто ринулся в бой.

Ожидание чуда было свойственно всем людям, которые выходили тогда на улицу. 3 октября – для кого-то это день погрома, а для кого-то – праздник чуда. Это прорыв гражданами всех оцеплений, это освобождение Парламента людьми, которых избивали столько дней. Это ощущение победы. Вот оно, чудо безоглядное! Неизвестно, что впереди, но понятно, что впереди не что сказочное.

Шальное ощущение, что будет эфир, будет возможность передать привет своему городу, посёлку, кто-то споёт песню, и будет всё совсем новое, другое. Всеобщее ликование, объединившее и красных, и державников, и демократов-народников – вот что такое 3 октября! И конечно, всё это было подавлено системой, которой они противостояли.

Другое дело, что огромное количество интеллигенции опасалось этой “тёмной” стихии – они поддержали расстрел. И уже после событий интеллигенция либерального толка оказалась не способна к откровенному разговору. Вместо него она предлагала игру на эмоциях. Здесь хотелось бы добавить, что у нас нет настоящих либералов, нет настоящих демократов. Такие люди, как Максимов, Зиновьев, Синявский, даже Лимонов – это вольнодумцы. Забытое слово. Остальные слова очень дискредитированы.

А. Р.: Можно сказать, что именно после 1993 года у власти чётко прослеживается боязнь улицы, открытого разговора, когда люди предъявляют власти свой счёт. Стали усиленно навязывать мысль, что политика не делается на площадях, что туда выходят только горлопаны, крикуны да погромщики, а все решения принимаются в тиши кабинетов. Эта кабинетная политика, кабинетный разговор с народом и стал стилем правления последнего времени. Справедливости ради следует отметить, что и народ, крайне униженный в девяностые, оглушённый выстрелами и танковыми залпами, сам не очень стремится говорить во весь голос, как-то проявлять себя. А ведь это крайне необходимый и цивилизованный способ предъявления своих требований. Отсюда у власти создаётся иллюзия практически безграничного волюнтаризма, *карт-бланш* на любые свои действия. Отсюда кабинет даже самого мелкого чиновника, клерка становится чуть ли не центром мира, где творится мистерия власти.

Ещё один важный момент относительно твоего главного героя. Виктор Брянцев, он ещё и бессмертие ищет, и в октябре 1993-го он увидел, что люди, вышедшие на улицу, тоже находятся в поисках этого самого бессмертия...

С. Ш. Поиск бессмертия — это и есть тот поиск чуда, желание преодолеть границы реальности, земные удерживающие границы бытия, что свойственно русской мечте. Здесь рядом и справедливость, и высшая свобода. Об этом писал и Николай Лосский, и Николай Бердяев. Невидимый Жан-Поль Сартр тоже был с этими людьми 3 октября, потому что русская свобода во многом экзистенциальна, связана с ощущением бренности этого мира. Как писал Александр Блок: “У поэта всемирный запой, и мало ему Конституций”. Конечно, Конституция была поводом для конфликта, но в принципе, это ещё было глубоко поэтическое действо — всё, что было связано с драмой 93-го года.

А. Р.: Твой герой умирает на пике событий. Инсульт, от которого умер Виктор Брянцев, — это всё-таки случайное явление, но была ли у него возможность выжить и что бы с ним произошло дальше? Что стало бы с человеком его типа, которого унижали, растапывали его гордость — она была присуща простому человеку в Советском Союзе. Он был инженером — представителем высшей касты, а его закинули под землю. Он приложил руку к созданию лунохода, а новые реалии заставили его чинить трубы...

С. Ш.: Мне пригодились репортёрские навыки, перед глазами были примеры людей, с которыми я общался, расспрашивал их, отчасти зарисовывал их. Знаю и относительно благополучные примеры семей, которые были в бедности, в тяжёлом положении, но они прошли эти девяностые. Думаю, что Виктор работал бы на аварийке и дальше. Не уверен, что он стал бы челноком. Но конкретно в этой ситуации, возможно, там был бы конфликт и развод. Причём не исключаю, что Лена с её взбалмошностью и сама бы могла внезапно рвануть из семьи. Хотя — как знать... Это вопрос для меня открытый.

Знаю людей, которые оказались закрученными вихрем 93-го года, и с тех пор никогда не выходили на улицу. Вот в чём я почти не сомневаюсь, так это в том, что Виктор после расстрела Белого дома не стал бы больше никогда уличным активистом. Он бы не ходил уже на митинги, может быть, даже остался бы глубоко равнодушен к президентским выборам 96-го года. Я знаю таких людей, которые были по-настоящему опалены событиями того времени, и Виктор оказался оглушён, контужен, по сути, этими залпами. Знаю большое количество людей, которые в начале девяностых с порывом бросились против несправедливости, и на моих глазах они полностью увяли. Они даже спустя годы не были готовы принять ничего, в том числе новую оппозицию. Как будто отрезало. Кто-то ещё пытался барахтаться, но в основном это были люди, которые ушли с улицы, потому что их угостили свинцом.

А. Р.: Оставались ли у твоего героя силы, чтобы не спиться, не опуститься, не уйти дальше под землю?

С. Ш.: При внешней мягкости у Виктора есть стержень. Он бы точно не спился. Но многие его друзья-бедолаги, у которых идеализм был не настолько ярко проявлен, могли бы спиться. Кувалда или Клещ, например. Как знать...

А. Р.: Прошло двадцать лет. Как изменился человек такого плана, как Виктор, семьи, подобные его семье?

С. Ш.: Появился Петя — безусый белоленточник, внук Виктора, который никогда не видел своего деда. Он стихийный патриот, социалист и демократ, хочет справедливости. Он ищет её в интернете, при этом не может до конца разобраться, что же хорошо, а что плохо. Пётр оказывается закручен новыми событиями, где-то фарсовыми, а во многом игровыми. Но захваченный игровыми событиями Пётр попадает в реальную тюрьму.

Появляются новые правдоискатели, и они той же системой показательно караются. Пётр — мечтатель. В нём может быть есть что-то лунатичное, но я думаю, что в нём присутствует и такая офицерская косточка: в нём есть представление о чести и о мужестве. Важно, что это продолжение пути русского человека. А русский человек, как говорил тот же Лосский, — максималист, его природа — поиск справедливости, желание бороться с подлостью. Он может быть менеджером среднего звена, сидеть в корпорации и до поры до времени демонстрировать лояльность, а внутри у него всё может клочкотать. Поэтому я думаю, что русского человека невозможно закатать. Другое дело, что есть ещё русская страсть к порядку. Это порыв хаоса, который хочет быть

окольцован порядком. Это такая глубоко диалектическая, таинственная и даже мистическая тема: желание жить в сильной стране и при этом абсолютная вольница в душе. Во многом это проявилось и в 93-м году, и вообще за последнее двадцатилетие.

У меня не вызывает сомнения, что русская стихия ещё рванёт, и книга “1993” – это книга-предупреждение, книга-предчувствие и книга-размышление о судьбах русских людей. По-настоящему то, что произошло в 93-м году, не осмыслено. Мне было важно разыскать неизвестную правду о сентябре-октябре 93-го, покадрово восстановить происходившее тогда. Здесь пригодился опыт работы в парламентской комиссии по расследованию тех событий и общение с близкими погибших. Кстати, 3 октября у мэрии была ранена сотрудница “Нашего современника”, и эта мимолётная страшная сценка есть в книге. Есть и стихи Наташи Петуховой, барда и спелеолога, расстрелянной с женихом Алексеем Шумским у телецентра.

Ещё было важно создать семейный роман об обычных людях. Роман о деле: всё-таки там достаточно много сказано об их работе, в том числе об аварийной службе.

А. Р.: Помню, ещё лет семь назад, когда Александр Проханов приезжал в мой родной Северодвинск и побывал на предприятии “Севмаш”, то говорил, что нужен роман о таких заводах, о таких людях. Это гигантский пласт жизни, этих людей наша литература долгое время будто не замечала. Вот лично тебя не напрягают сравнения с соцреализмом, с производственным романом?

С. Ш.: Мне кажется, что этого не хватало литературе, обществу. Нам не хватает рассказов о том, как сейчас живёт завод, например, “Севмаш”, на который ты меня водил и на котором были яркие, интереснейшие люди. Помню своё общение с ними. Точно так же, когда был в Челябинске, сразу отправился на Челябинский тракторный завод. Сейчас это не описано, этого нет в литературе. Такое ощущение, что в центре прозы, как это пошло с начала девяностых, оказывается альтер-эго автора – рефлексирующий интеллигент. Пишут о журналистах, о литераторах, а учителя, офицеры, инженеры, врачи, рабочие и крестьяне – их как будто бы не существует. Но в реальной-то жизни они есть! Обращение к ним не должно быть наигранным. Мне кажется, что у меня эти люди получились достоверными. Почему бы и не написать о тех, кто вокруг и кто на самом деле составляет большинство.